

## СОВИНЫЕ КРЫЛА. ЦАРСКИЙ МИНИСТР И ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

*С.С. Неретина*  
*Институт философии РАН*

**Аннотация:** *В конце XIX в. Россия стояла перед лицом преобразований. Интерес к разнообразным теориям ее переустройства проявляли все слои общества, в том числе высокопоставленные персоны. Активно участвовал в их обсуждении обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, который писал статьи не только на религиозные темы, но и на общественно-политические. Среди его интересов были проблемы парламентаризма, демократии, социализма, происхождения государства; он вводил идеи бессознательного, обратил внимание на нового субъекта истории — массу. Победоносцев публиковал и переписывал под своим именем наиболее острые статьи (что в то время никто не стал бы называть плагиатом), умело препарируя эти проблемы (через фигуры умолчания, ироническую интонацию, подстановки) в духе консервативно-монархической бюрократии. Расширение спектра теоретических позиций необходимо для понимания, прежде всего, революционных процессов, чтобы исключить односторонность в их трактовке.*

**Ключевые слова:** *социализм, государство, демократия, зло, ложь, бессознательное, церковь, вера, разум, Герцен.*

Идея свободы, занимавшая Гегеля, которой он отдавал всю энергию мысли, была одной из *своевременных* для XIX в. идей (после Французской революции и наполеоновских войн). Гораздо более удивительно, что эта идея не отпускала великие философские умы весь период, который мы называем «нашей эрой», но почему-то споткнулись о современные открытия в области нейрофизиологии [См.: Черниговская 2013].

Гегель рано овладел российской мыслью — осмысление его философии началось ещё при его жизни. В 1847 г. был переведён его «Курс эстетики, или науки изящного», затем, в 1861–1868 гг., «Энциклопедия философских наук в кратком очерке», «Феноменология духа» в 1913 г. и многое другое. Но я хотела бы обратить внимание на то, как идеи французских и немецких мыслителей, пристально следивших за революционными событиями 1790-х годов во Франции, откликнулись в России. И опираться буду не на считающихся прогрессивными историков или представителей начинающейся философии, а на консервативную фигуру К.П. Победоносцева, за которым к тому же закрепились характеристики консерватора, охранителя, оголтелого церковника, злого гения России, русского Торквемады и проч., от чего сам он, впрочем, отрекся (см. его письмо Николаю II). При этом иным его современни-

кам «становилось страшно от ощущения развивающейся здесь мозговой работы» [Ланщикова 1993: 9]. Меня эта фигура интересует — подчеркну — только и исключительно как индивид, который заинтересованно, профессионально откликнулся на запросы своего времени. Утвердившиеся со времени французской революции идеи свободы и народовластия, «откуда истекает теория парламентаризма», Победоносцев называл «одними из самых лживых политических начал» [Победоносцев 1993: 31].

Статья «Великая ложь нашего времени» была опубликована в 1884 г. в еженедельнике «Гражданин», который за 10 лет до того редактировал Ф.М. Достоевский и который изначально позиционировал себя как «орган русских людей, стоящих вне всякой партии», а к 1884 г. — в условиях сближения славянофилов и консерваторов — изменил свои приоритеты: помимо вопросов либерализации и модернизации русского общества, появилась критика и либерализации и модернизации, подрывавших, по словам того же Победоносцева основы стабильности цивилизации и нёсших тяжёлые последствия для личности, общества и государства. Платформа еженедельника все более становилась на охранительные позиции, что произошло в полной мере во время редакторства В.П. Мещерского [см.: Отливанчик 2009: 103–107]. Но это еженедельник! т. е. популярный журнал, где высказывались все волновавшие умы идеи. И это значит, что обсуждались всерьёз и проблемы демократии и парламентаризма, иначе, нет смысла скрещивать шпаги. Писал Победоносцев и Герцену (см. «Голоса из России») с резкой критикой николаевских полицейских порядков и в целом министерства юстиции. Победоносцев, идеи которого лишь в последнее время стали *как-то* изучать (если П.А. Зайончковский, Б.В. Виленский, В.А. Твардовская изучали его труды в контексте контрреформ 80–90-х гг. XIX в., то А.Ю. Полунов, О.А. Майорова, С.Л. Фирсов, Н.Р. Антонов, Е. Бирюков, А.В. Репников, В.И. Жировов, Н.В. Павлов и др. начали анализировать его историко-политические взгляды<sup>1</sup>), этот охранитель самодержавия именно в силу глубокой внутренней заинтересованности вынужден был заняться проблемами существования власти потому, что в обществе обсуждались идеи ограничения этой власти, принятия конституции и образования органа народного представительства, предполагая, что Россия может избрать «путь торопливой перестройки по... европейским политическим схемам» [Жировов 1995: 76].

Характерно, что интерес к этой фигуре возник в наше время после десятилетий молчания, после ужаса, возникавшего при одном его имени, чему немало способствовала поэма А. Блока «Возмездие», о которой поэт говорил в предуведомлении, что она была набросана в основном зимой 1911 г. в ситуации «глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета», в «ночных разговорах, из которых впервые выросло сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики», в ситуации «расцвета французской борьбы в петербургских цирках», когда к тому же «была в особенной моде у нас авиация... Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции» [Блок]. Власть в руках полиции вызывает трепет не только в 1911 г. Но какова была память о Победоносцеве, уже 4 года как лежащего в могиле, если о нем в то время могли сложиться такие строки:

В те годы дальние, глухие,  
В сердцах царили сон и мгла:

<sup>1</sup> Ещё раз подчеркну: меня сейчас не интересует полное изложение взглядов Победоносцева. Сошлюсь на взвешенную рецензию Ю.С. Степанова [Степанов], где достаточно подробно рассказывается о сложившейся современной атмосфере вокруг этого имени, в частности в опубликованном томе «Победоносцев: Pro et contra» (СПб.: РХГА, 1996). Меня интересует невнимание к его историко-политическим позициям, обусловленное сложившимся мнением, будто уже в ту пору существовал аппарат СМИ, внушавший массе людей определённую точку зрения, и его использование философии Гегеля, о чем упоминают некоторые современные авторы (см., например, вводную статью О.А. Майоровой к публикации писем Победоносцева к сёстрам Тютчевым — «Новый мир». 1994. № 3).

Победоносцев над Россией  
 Простер совиные крыла,  
 И не было ни дня, ни ночи  
 А только — тень огромных крыл;  
 Он дивным кругом очертил  
 Россию, заглянув ей в очи  
 Стеклянным взором колдуна;  
 Под умный говор сказки чудной  
 Уснуть красавице не трудно, -  
 И затуманилась она...  
 Колдун одной рукой кадил,  
 И стружкой синей и кудрявой  
 Курился росный ладан... Но -  
 Он клал другой рукой костлявой  
 Живые души под сукно.

Строки, завораживающие и ужасом (у совы нет огромных крыл), и напоминанием о колдовстве и мудрости, ибо сова — символ мудрости, ассоциации с «совой Минервы» не исчезают, последние строки не слишком вняты...

Скорее всего, и в конце XIX – начале XX в. было такое же стойкое недоумение, чем мы сейчас заниматься не будем в силу другой интересующей нас проблемы истории, которая в России всегда была связана с историей государства. Но все же интересны в связи с Победоносцевым следующие коллизии:

1. Мы настолько зомбированы нашим «школьным» знанием, что изначально исключаем из анализа фигуры, относительно которых получили внушение, что они реакционны, консервативны, гонители всего передового, хотя всеобщие проблемы требуют и всеохватывающего взгляда.

2. Мы снабдили их такими определениями, как «глупый», «угрюмый», «супостат», «стеклянный», «костлявый», которые отвращают от них многих, не обязательно либеральных людей.

3. Мы, всегда обуживая историю в целях образования, обуживаем ее на других основаниях: не желая доводить до сведения слушателей мнение, чуждое повествователю, хотя при этом

4. обличаем в неправомерной ее коррекции своих противников, которые делают то же и на тех же основаниях лишь с других позиций. В таком случае мы изначально делим историю надвое.

5. Мы обнаруживаем себя неспособными к конструктивному диалогу с противоположным мнением, тем более с мнением чиновника и бюрократа по статусу.

Между тем, сама биография Победоносцева, поповского внука, сына профессора словесности Московского университета, окончившего училище правоведения, знаменательна для «полудворянской, получиновичьей» России. В письме к Николаю II он писал: «По природе несколько не честолюбивый, я ничего не искал, никуда не просился, довольный тем, что у меня было, и своей работой, *преданный умственным интересам*, не искал никакой карьеры и всю жизнь не просился ни на какое место...» [Победоносцев 1993: 624–625. Курсив мой — С.Н.], достигнув при этом высокого положения и в Сенате и в Синоде. Он, судя по его трудам, действительно говорил правду, и его высокомерная обида возникла не на пустом месте. Это был практик-правовед, внутренне, интеллектуально ориентированный на проблемное теоретизирование, на поиск сравнений и соответствий мироустановлений. Неумение слушать оппонентов, наклеивание ярлыков — это то, что отмечал сам Победоносцев и что досталось нам в наследство от времён оно.

Но любопытно же, что думал и писал о мирских проблемах, занимавших общество конца XIX – нач. XX вв., т. е. о проблемах свободы, парламентаризма, демократии, социализма, один из могущественных людей того времени, который по роду занятий должен был заниматься сугубо духовными делами!

Оказывается, Победоносцев, изучая историю европейских институтов, не отвергает саму теорию парламентаризма. Он исследует возможности применения этой идеи в России, при этом жёстко различая теорию и практику. В теории это было, на его взгляд, возможно, на практике нет, ибо, по его аргументации, «историческое развитие общества приводит к тому, что местные союзы умножаются и усложняются, отдельные племена сливаются в целый народ или группируются в разноречивые под одним государственным знаменем, наконец, разрастается без конца государственная территория: непосредственное народоправление при таких условиях невыносимо» [Победоносцев 1993: 32]. В данном случае, имея в виду, конечно, Российскую империю, он почти повторил Гегеля. Тот писал: «Для этого духа и для этого государства (имелся в виду греческий полис. — *С.Н.*) был пригоден лишь *демократический* строй... именно в Греции существует свобода индивидуума, но она ещё не дошла до той свободы абстракции, согласно которой субъект зависит просто от субстанциального, от государства как такового <...> Главным моментом демократии является нравственный образ мыслей <...> Закон существует по своему содержанию как закон свободы и как разумный закон, и он имеет силу, потому что он есть закон в своей непосредственности <...> В современных представлениях о демократии нет этой правомерности: интересы общества, общественные дела должны обсуждаться и решаться народом». Именно это имеет в виду Победоносцев, мыслящий бюрократ, чиновник-интеллектуал, когда говорит о невозможности непосредственного народоправства в современном государстве. Гегель продолжает: «Отдельные лица должны совещаться, выражать свое мнение, голосовать на том основании, что государственный интерес и общественные дела являются их интересом и их делами. Все это совершенно верно; но существенное различие заключается в том, *кто* такие эти отдельные лица. Они абсолютно правоспособны лишь, поскольку их воля ещё является *объективной* волей, не стремится к тому или иному, не является всего лишь *доброй* волей. Ведь добрая воля есть нечто личное, она основана на моральности индивидуумов, вытекает из их убеждения и из их внутреннего мира. Именно субъективная свобода, составляющая принцип и особую форму свободы, свойственную нашему времени, абсолютную основу нашего государства и нашей религиозной жизни, могла оказаться лишь *гибельной* для Греции» [Гегель 1935: 236–238].

Я хорошо помню, что, прочитав эти строки, я разместила их в фейсбуке, желая обсудить их с либеральным сообществом, к которому отношу и себя, не считая себя, однако, специалистом в политическом правоведении. Но я знаю также, сколь часто, говоря о демократии, мы ссылаемся на древние Афины. Ответа не было. О чем это свидетельствовало, не берусь утверждать. Но не исключено, что в том числе и о том, что сравнение — дело трудное, не всегда подъёмное, ибо сравнивать надо и содержание понятий, и унастроение разных слоёв общества, находя при этом способы их корреляции, ибо представления о мире, жизни, труде у нас и в Западной гегелевской Европе были разные.

На просторы России обращали внимание не только Победоносцев, но и Л.Н. Гумилев, и М.Я. Гефтер, ни слова не проронивший о Победоносцеве, но изрекший «мы иное, чем страна». Жизнь в России начиналась не от личности, как там, а от «общества» (от общины, «мира»). Преобладавшие в России коллективизм и соборность, и до сих пор не изжитые («скрепы» родом оттуда) не были преимуществом России, они показывали неспособность к автономии и свидетельствовали об отсталости, как об этом писал И.К. Пантин, назвавший это примитивно-коллективистским типом культуры. Достаточно сказать, что Г.В. Плеханов, когда стал марксистом, начал осознавать, что революционная интеллигенция и крестьянство — это два разных народа, а рабочий класс для него есть лишь транслятор интеллигент-

ских социальных идей в село, жители которого обладают архаичным менталитетом [Пантин 1994: 91, 90].

Победоносцев видел различие в содержании между западноевропейскими и российским типами этатизма. Он понимал, что в России с ее разнонаправленным развитием нельзя было выработать общее понимание свободы, равенства или справедливости: начало всему давало государство. Словно в ответ Гегелю он начал анализировать основные понятия демократии: выборы, свободу, право и равенство, понятия, странные на слух, воспитанный в традиции отсутствия таких понятий в Российской громаде того времени и — главное — их обсуждения, опять же, в целом России, во многом, кстати, объясняющего интенции февральской революции 1917 г., задачи которой, разумеется, возникли не как «бог из машины». В статье «Новая демократия», вошедшей в книгу «Великая ложь нашего времени», он писал: «Новейшая демократия ставит ближайшей себе целью всеобщую подачу голосов — вот роковое заблуждение, одно из самых поразительных в истории человечества. Политическая власть, которой так страстно добивается демократия, — пишет человек, заклеянный именем мракобеса в статье «Новая демократия», — раздробляется в этой форме на множество частиц, и достоинством каждого гражданина (не подданного, Победоносцев употребляет именно это слово — гражданин. — С.Н.) становится *бесконечно малая* доля этого права... в результате несомненно оказывается, что в достижении этой цели демократия оболживила свою священную (sic! — С.Н.) формулу *свободы*, нераздельно соединённой с *равенством*. Оказывается, что с этим, по-видимому, уравновешенным распределением *свободы* между всеми и каждым соединяется полнейшее нарушение равенства, или сущее *неравенство*. Каждый голос, представляя собой ничтожный фрагмент силы, сам по себе ничего не значит: от-носительное значение может иметь только некоторое число, или группа голосов» [Победоносцев 1993: 60].

Конечно, можно ему возразить, что право как таковое не дробится, как не дробится и форма управления, но он-то читает не европейскими глазами, а глазами человека с государственно-уравнительным сознанием (Пантин предлагает синонимы: с «державным началом», «государственным коллективизмом», «„мы“ вместо „я“» [Пантин 1994: 78]), где меньшинство по определению не может быть правым. И хотя образованное общество в России двигалось в сторону западного понимания либерализма, формирование его принципов затягивалось. Да и что далеко ходить, если сравнительно недавно, какое-то десятилетие назад, меня упрекнули в гипертрофии элемента «личного» в личности [См.: Неретина 2008: 96–100]<sup>2</sup>. Как писал Пантин, в то время, наоборот, демократы «во имя демократизма вынуждены были идеализировать крестьянскую, а затем плебейски-пролетарскую массу, приписывая им. Согласно западноевропейским социалистическим канонам, все мыслимые социальные добродетели (коллективистский дух, революционную самодеятельность, освободительную миссию и т. п.). И все это — в стране, где большинство составляли традиционалистски и царистски настроенные крестьянские массы, едва затронутые буржуазной цивилизацией». И дальше: «Социальный взрыв октября 1917 г... вывел на арену массовые силы, интересы, поведение, психология которых, как оказалось, разительно отличались от представлений либералов и даже демократов» [Пантин 1994: 80–81]. Именно из уст этих — демократических — сил можно было бы услышать нечто прямо противоположное высказыванию Дж.Ст. Милля, а именно, что государство лучше знает, что нужно человеку [Там же: 88].

Победоносцева надо бы читать современным политологом и политикам. Он ставит диагноз прошлому западному обществу, но в качестве диагноза подходящего и современному российскому. «Истинное определение парламента», уже прочно укоренённого в европейских странах, по Победоносцеву, таково: «Парламент есть *учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей*» [Победонос-

<sup>2</sup> См. мой ответ на этот выпад в моей книге: Неретина 2008: 96–100.

цев 1993: 34]. Объясняет он сложившееся положение дел прошлыми пороками общества, тем более что прошлое для него в принципе является корнем объяснения. Это скажется и на его понимании истории как таковой. Это — критика западных способов правления. «Испытывая в течение веков гнёт самовластия в единоличном и олигархическом правлении и не замечая, что пороки единовластия суть пороки самого общества, которое живёт под ним, — люди разума и науки возложили всю вину бедствия на своих властителей и на форму правления» [Там же: 35].

Суть дела именно в этой фразе: Победоносцев саму форму власти выводит из социальности, которую рассматривает как некую однородную силу, обеспечивающую способ правления. Возложение же ответственности за беды народа на властителей со стороны *учёных*, свидетельствует о том, что он понимает зависимость *гражданских* (им употребляемый термин) обязанностей от *рационально* настроенного общества, пытающегося разумно самообустроиться, что не свойственно России, и ему как *подданному* Российской империи, долгое время не знавшей (несмотря на множество попыток внедрить это) сословного деления и умения сословий отстаивать свои права, это известно. О крепостном праве в XIX в. в Западной Европе и речи нет, как нет речи и о постоянном искусстве представительным правлением. Но «что же вышло в результате? Вышло то, что *mutate nomine* (при изменении имени. — *С.Н.*) все осталось в сущности по-прежнему, и люди, оставаясь при слабостях и пороках своей натуры, перенесли на новую форму все прежние свои привычки и склонности». Он пытается найти сухой остаток там, где речь идёт о разности мышления. Россия не дошла до парламентаризма, а Европа вступила в стадию критики самой себя.

Сама эта характеристика ясно свидетельствует о ментальной пропасти между европейскими странами и Россией и о будущих решениях изучения истории: большевик М.Н. Покровский, полагая, что любую общественную формацию можно изучать на примере любой страны, действовал в духе консерватизма и апологетики российского самодержавия Победоносцева. При так проведённом анализе демократия и парламентаризм действительно оказываются лживой формулой.

О чем это говорит? Можно сказать в очернительном духе: что так и должен рассуждать царский сатрап. Но можно и иначе: он думал так же, как представивший Россию этого периода философ XX в.

Далее Победоносцев перечисляет такие признаки парламентаризма, которые могут вызвать желание выставить их на всеобщее обозрение без упоминания имени автора — настолько верно они характеризуют и современных «народных представителей». Так, одной из важнейших черт является популизм и маскарадность, позволяющие использовать демократические институты (например, комитеты, акционерные общества) для авторитарных целей, превращая политические свободы в фикцию; другой — мы бы сейчас сказали — деятельность СМИ (у Победоносцева это названо «работой своим языком», *фразой*, зажигающей толпу), третьей — обладание харизмой («излюбленный человек большинства, а на самом деле <...> излюбленный меньшинства» [там же: 40]), четвертой — перерождение *свободных представителей народа*, призванных к решению государственных вопросов, в *представителей определённого мнения, партии, связанных инструкцией*, что лишает смысла термин «свобода слова», имеющего значение лишь при персональном говорении. К началу XXI в. эти наблюдения, сделанные в конце века XIX-го, весьма своевременны.

Что делает Победоносцев для российского общества? Он знакомит его (через еженедельную газету, через собственные опусы) с идеями Ж.Ж. Руссо, с деятельностью парламентских учреждений Франции, Англии, Испании, Америки и Германии, подчёркивая, что «новейшие германские и австрийские конституции все исходят от монархической власти» [Там же: 58].

Апологет и один из столпов российской самодержавной власти и *церковный* деятель оказывается едва ли не первым учёным, исследующим природу *светской* власти, коренящу-

юся, на его взгляд, в старых обычаях, преданиях, учреждениях. Традиция понята «горизонтально» — как передача знаний через поколения. При этом прекрасно понимается, что такого рода традиция может казаться «старым хламом, от которого нужно отделаться» [Там же: 321]. Однако превалировала убежденность (см. статью «Церковь и государство»), что в основании всего лежит народная религия («каждая верующая душа в отдельности и все вместе» [Там же: 205]), связанная с вечностью и которая является «главным источником» власти и идеалом бытия [Там же.: 206]. Этот способ аргументации предполагал авторское участие Бога в творении, т. е. матрица панлогизма гегелевского толка лежала в основе рассуждений Победоносцева, полагавшего единое нравственное начало (см. выше о Гегеле) и образование гражданского общества «под первоначальным семейственным устройством» [Там же: 219]. В следовании этому правилу Победоносцев отказывал западному обществу, поскольку именно в нем возникла идея «свободной церкви в свободном государстве» [Там же: 225], ставшая камнем преткновения в его рассуждениях, ибо, если государство опиралось на народную религиозность, выражением которой являлась церковь, то о свободе их друг от друга не могло быть речи. Обер-прокурор Синода считал логически неточным такое понимание свободы, которое предполагало и допускало пренебрежение верой.

Под свободой Победоносцев понимал свободу подзаконного действия. В этом смысле, как он говорил, «невзирая на всякие свободы... мы стремимся под власть государства», подтверждая тезис о том, что государство лучше знает, что нужно человеку.

Вопрос в том, каким представляется Победоносцеву человек. Определяя его, он употребляет термин, менее всего ожидаемый от обер-прокурора Синода. По его мнению, о «самый простой заурядный человек бессознательно чем-нибудь приобщается к социалистам» [Там же: 219].

Очевидно, что под социалистами Победоносцев не имеет в виду людей, ставящих перед собой глобальную цель свержения капитализма, как сообщают о том многочисленные словари в Интернете, воспитывающие современную молодёжь. Если же иметь в виду Россию, то капитализм в ней в конце XIX в. не утвердился, хотя социалистические, даже коммунистические идеи появились уже в середине этого столетия.

На кого ориентировался Победоносцев?

На мой взгляд, на Герцена. Именно Герцен употребил — критикуя Европу в том числе за парламентаризм — слова «великая ложь» (*un mensonge*), которые Победоносцев сделал названием своей статьи. Именно Герцен считал, обращаясь к Мишле, что европейские «законы начинаются возмутительною ложью — ироническим злоупотреблением имени французского народа и словами „свобода, братство и равенство“». Потому вдвойне интересно сначала прочитать мнение Победоносцева о «свободе, равенстве, братстве», а потом мнение Герцена, жившего раньше и писавшего раньше, и обнаружить странное сходство, которое, несмотря на странность, свидетельствует о *способе, каким попадали на российскую почву некоторые идеи*. В данном случае на основе верных наблюдений готовилось выражение совершенно ложной идеи о единстве народа и государства. Речь даже не о «скрепах», которые могут быть искусственными, а об одном корне.

22 сентября 1851 г. Герцен в письме-эссе к историку Ж. Мишле ответил на его выпад против русского народа, который тот назвал людьми, лишенными нравственного смысла, Россию же вообще не существующей [См.: Герцен 1956]<sup>3</sup>. Герцен писал — и это нам важно, поскольку, решившись написать о Победоносцеве, к которому как к интеллектуалу испытываю интерес, но отнюдь не симпатизирую многим его взглядам, я сказала, что мы обуживаем историю, исключив из нее мысли людей, о которых со времён средней школы не принято говорить, — что есть две России: люди реакции и люди революции, «официальная, царство-фасад, византийско-немецкое правительство<sup>4</sup>» и — «русский народ», который жив, здоров и

<sup>3</sup> Цитаты даны по этому изданию.

<sup>4</sup> На этот герценовский оксюморон требуется обратить внимание как на российскую особую примету.

даже не стар, — напротив того, очень молод». Но это не несуществующая, а «безгласная Россия», которой Герцен предоставляет свой голос. Он называет Россию «всемирным покровителем», простирающейся до Средиземного моря благодаря своему покровительству Оттоманской Порте, до Рейна благодаря своему покровительству немецким родственникам и до Атлантического океана благодаря своему покровительству порядку во Франции. А потому народ, возможно, имеет другое призвание, кроме «отвратительной роли» — постоянной преграды на пути человечества. Но вот любопытно: разочаровавшийся в европейском социализме особенно после революций 1848–1849 гг., Герцен, как впоследствии и Победоносцев, интересовавшийся Герценом, жёстко критикует парламентаризм и протестантизм, называя связанные с ними преобразования «отстрочками, временным спасением, бессильными оплотами против смерти и возрождения». Но — это также очевидно — он считал государство, византийско-немецкое правление — в отличие от Победоносцева — врагом народа, который оно использовало в своих целях и который, надо сказать, помогал ему. По мнению Герцена, не централизация, а федерализация свойственна славянам, которые, однако, хотя ещё и не вошли в стадию «исторического существования», однако проявляли ко всему случающемуся с ними «странное полувнимание — даже удивительную симпатию»: без потрясений приняли христианство, а много лет спустя покорились привезённой из-за границы цивилизации.

В этой фразе акцент можно поставить на замеченном Герценом «странном полувнимании», сочетающемся с «удивительной симпатией». Не значит ли эта симпатия, что происходящее с народом не затрагивает его глубинно? Что он воспринимает свое положение не как принуждение, а как некий дар, не принять который нельзя. Даже монгольское завоевание он принимал отстраненно: он признал чужое владычество, выражавшееся во возносе дани.

В этом замечании Герцена, явно сказанном не скондачка, есть то, что можно назвать «сермяжной правдой». И до сих пор можно обнаружить у большинства населения это «странное полувнимание» к тому, что принимают относительно него, но не затрагивая его интересов. В то время он, народ, считал принимающих чужаками, немцами с византийским укладом, в то время как уклад народа России — не социализм даже, а коммунизм, и его сила, как считал Герцен, — «в аграрном законе, в постоянном дележе земли». Именно немцев, своих врагов, он обманывает, обкрадывает и хитрит с ними, потому что хитрость — здесь Герцен ссылается на мыслителя, которому, как мы с самого начала отметили, как бы отвечал Победоносцев, ссылается на Гегеля — это «ирония грубой власти».

Наши сравнения оправдываются. Но что с социализмом? как Победоносцев пришел к выводу, что обычный человек бессознательно приобщается к социалистам?

Во-первых, мы это уже подтвердили Герценом, выразившемся еще сильнее: он приобщается к коммунизму. Более того, Герцен подчёркивает, что слова эти — и о коммунизме, и об аграрном законе — сказаны не им, а французским историком, т. е. определение через коммунизм принадлежит стороннему наблюдателю, оно становится как бы «общим местом». И Герцен, как и Победоносцев впоследствии, будет далее утверждать, что коммунизм и аграрный вопрос — те проблемы, на которых сомкнутся пробуждающаяся Россия (шаг вперед) и проигравшая Европа (шаг назад и — стали вровень).

Сейчас не важно, прав ли был Герцен, соглашаясь с Мишле, будто русский крестьянин питал отвращение к личной земельной собственности и причастен только к тому, что имеет отношение к сельской общине — от всего остального отгорожен стеной. Но признание, что официальная Россия и крестьянская говорят на разных языках, совпадает с мнением современного исследователя, который привёл пример с Плехановым, считавшим, что рабочий, вышедший из крестьян, служит переводчиком между образованной и необразованной Россией. Более того, Герцен подчёркивает единство Европы и России: революция 1848 г. привела к реакции в России. «Сам царь это замечает и свирепствует против университетов, против идей, против науки; он старается отрезать Россию от Европы, убить просвещение. Он делает свое дело. Успеет ли он в нем? Я уже сказал это прежде. Не следует слепо верить в будущее;

каждый зародыш имеет право на развитие, но не каждый развивается. Будущее России зависит не от нее одной. Оно связано с будущим Европы. Кто может предсказать судьбу славянского мира в случае, если реакция и абсолютизм окончательно победят революцию в Европе? Быть может, он погибнет? Но в таком случае погибнет и Европа... И история перенесётся в Америку...». Это напоминает уже упования другого политика, который делал революцию в России в расчёте на мировую. Мысль прокладывает разные пути. Их можно назвать странными. Но прежде всего они разные — у одной и той же мысли.

Ибо одна и та же мысль у Герцена и Победоносцева — 1. утвердить народную «силу нравственного тяготения» как силы творческой, поднимающей «массы на великие дела», и 2. считать основанием социализма поглощение личного общественным (общинным).

Герцен считал крестьянскую общину «ячейкой» будущего социализма в России, основой которого будут крестьянское общинное землевладение, крестьянская идея права на землю и мирское самоуправление. Он считал, что крестьянская нравственность естественно, т. е. инстинктивно, т. е. бессознательно, как считал впоследствии Победоносцев, вытекает из его коммунизма. До устройства общины «коснуться было бы опасно», поскольку она есть корень всего мироустройства, но этот народный корень и Победоносцев считает сакральным. И эта общинная организация благополучно дожила, как пишет Герцен, «до развития социализма в Европе». Уж не перепутал ли наш замечательный поэт, Блок, когда писал, что все вокруг обер-прокурора застывает и засыпает, Победоносцева с Герценом, который писал, что «Зимний дворец, как вершина горы под конец осени, покрывается все более и более снегом и льдом. Жизненные соки, искусственно поднятые до этих правительственных вершин, малопомалу застывают; остаётся одна материальная сила и твёрдость скалы, ещё выдерживающей напор революционных волн».

Что ещё утверждает Герцен? Справедливо отмечая, что царь Николай I с ожесточением гнал либерализм, он словно пеняет ему: напрасно-де он это делал, ибо либерализм «не может укорениться на русской почве», — и с ним снова согласился современный философ. Но что сделал Победоносцев? Он словно не заметил факта борьбы царизма с либерализмом, но сделал фактом внутренней общегосударственной жизни его невозможность. Это тоже великая ложь, хотя и основана на внутренней отсылке монархиста к либералу Герцену. Он-де тоже так считает. Здесь искривляется история, и Победоносцеву можно было бы предъявить обвинения в искажении мысли, если бы у него была ссылка на автора этой мысли! Но ее нет — мы по нескольким словам, по укороченным цитатам можем делать осторожные выводы об источнике мысли. Это значит, что история спрямляется не только ходом времени, задачами образования, но и задачами обоснования собственных целей ценой не диалога, а умолчания. Ниже увидим, как он применял метод коллажа для предъявления собственных картин.

Социализм и самодержавное государство, считает Победоносцев в статье «Церковь и государство», не противоречат друг другу, ибо «мысль, что вся частная жизнь должна поглощаться в общественной, а вся общественная жизнь должна сосредоточиваться в *государстве* и быть управляема государством, это *главная движущая идея социализма*» [Победоносцев 1993: 219].

Не обсуждая определения и цели социализма, которые впоследствии будут приняты в советской России, базировавшейся на Марксовых идеях, интересно было бы узнать реакцию на эти слова Блока, который, как передают, шел во главе демонстрации под окнами Победоносцева.

Под церковь Победоносцев понимает не только и не столько институцию, сколько тождество дела и веры, которое образует фундамент народной религии с не вполне раскрытым содержанием идеи свободы, под которой в основном понимается свобода человеческой души, опирающаяся на узаконенное действие, и нечто истинное, «живое, всенародное учреждение», сказывающееся сознательно и бессознательно.

Не раскрытое понятие бессознательного становится едва ли не главным в представлениях Победоносцева об истории. Конечно, ни о какой свободе как историческом факте здесь речи нет. Свобода определяется им в статье «Духовная жизнь» фактически как содержание человеческой души [Там же: 325], большей частью бессознательное. Это понятие фактически становится основным в рассуждениях Победоносцева: это тот старый хлам, от которого часто пытаются отделаться, поскольку знания о нем нет, но что «не придумано, а создано жизнью, вышло из жизни прошедшей, из истории», которая определяет человеческую жизнь. Если для Гегеля история появляется вместе с самосознанием, то Победоносцев извлекает ее из недр бессознательного, из которого транслирует дальнейшее ее развитие. Бессознательное так и остается бессознательным. Его нельзя «заменить... сознанием *идеи* вновь введенного учреждения, которое желают привить к народной мысли» [Там же: 322]. Сознание доступно отдельным лицам, а «масса усваивает себе идею только непосредственным чувством, которое воспитывается и утверждается в ней не иначе, как историей, передаваясь из рода в род» [Там же]. Эта трансляция истории, трансляция знаний может испытывать трансмутирующие влияния, от которых надо избавляться или надеждой на историю, или на воспитание. В этом смысле Победоносцев как раз являет собою пример, который обороняется от наседающих возможностей изменений. «Разрушить предание возможно, — писал он, — но невозможно, по произволу, восстановить его» [Там же].

Но при этом он проявляет чудеса инноваций: едва ли первый ввел термин «масса» (до О.Э. Мандельштама, Х. Ортеги-и-Гассета, В. Бенямина), пытается разобраться — в 90-е гг. XIX в. — с термином «бессознательное». И он едва ли не стал тем, благодаря кому история стала пониматься как прошлое и только как прошлое. Как настоящее (в России таковым был П.Я. Чаадаев) понимают историю «современные проповедники разума и свободы» [Там же: 326]. Он обращает внимание на парадокс, возникающий при таком понимании свободы. «Нам говорят: сбросьте с себя ярмо закона (удивительно, что это говорит человек в стране, где не слишком чтит закон. — *С.Н.*), разорвите вековые цепи предания, и будете свободны...» Многоточие после этой фразы — не предполагает никакого пропуска. Победоносцев пожелал обратить внимание на нее, ибо далее он продолжал: «Но какая же то свобода, когда вместе с тем настоящее *status quo* возводится нам в закон и ложится на нас ярмом ещё тяжелее прежнего» [Там же].

Собственно, это ответ Гегелю. Это отворачивание от признания свободы как исторического факта, который есть и который недоказуем. Победоносцев, основывая историю на бессознательном, на чувстве, именно в нем видит логику исторического существования. Бессознательное — доказательство! Осознавал ли он сам этот парадокс?

Карл Густав Карус (1789–1869), написавший произведение «О душе», которое послужило источником представлений Победоносцева об истории, представлял душу как нечто непрестанно преобразующееся в постоянном процессе развития, разрушения и нового образования. Сознательной жизни человека, которая разлагается на отдельные моменты времени, доступно лишь смутное представление о прошедшем и будущем, настоящее же от нее ускользает, ибо, едва явившись, уже переходит в прошедшее. «Приведение всех этих моментов к единству, сознание *настоящего*, т. е. обретение истинного твёрдого пункта между настоящим и будущим, возможно лишь в области бессознательного, т. е. там, где нет времени, но есть вечность» [Там же: 330].

Этот ход мысли, только с соответствующими доказательствами, можно увидеть у МакТаггарта [МакТаггарт 2017], родившегося незадолго до окончания жизни Каруса. Но сама эта цитата *полностью принадлежит произведению священнослужителю Г.М. Дьяченко* (1850–1903), которое называется «Тайная жизнь души», отрывок из которой помещен в тексте «Духовная жизнь», опубликованном в 1896 г. в «Московском сборнике» Победоносцева (совр. издание: М.: Русская симфония, 2009). Ю.С. Степанов в рецензии «О Победоносцеве. Некоторые историографические суждения о К.П. Победоносцеве» писал, о нем, что «человек

весьма начитанный и учёный, владеющий основными европейскими языками, Победоносцев, в частности, в «Московском сборнике», без труда комбинировал фрагменты сочинений Д.С. Милля, Т. Карлейля, Ф. Шопенгауэра, М. Нордау и других мыслителей так, что в итоге, получалось последовательное изложение его собственных суждений<sup>5</sup>. Жаль, что этого не отметил и не объяснил издатель «Великой лжи» 1993 г., ибо современный читатель без знания контекстов прежних возможностей и назначений издания легко может счесть такое заимствование плагиатом.

Скомпилировав мнение Дьяченко о Карусе, Победоносцев представил основание истории как «неизвестное», которое есть «самое драгоценное достояние человека». При этом в «Духовной жизни» он сослался на Платона, который «недаром учил... что все в здешнем мире есть слабый образ верховного домостроительства» [Там же: 328]. Память — это сознательное, именно памяти, иногда внезапно, открывается бессознательное. Связь с Платоном не случайна: у Победоносцева, как и у Платона в диалоге «Парменид», слово «вдруг» часто приобретает характер термина. Это не просто неожиданность или начало изменения, а место самого начала, канун бытия. Победоносцев пишет, точнее — повторяет Дьяченко: «Представления о лицах, предметах, местностях и пр., даже иные особенные чувства и ощущения, иногда в течение долгого времени кажутся совсем исчезнувшими, как вдруг просыпаются и возникают снова со всей живостью, и тем доказывают, что в действительности не были они утрачены» [Там же: 331]. Не случайно А.Ф. Лосев, возводя «вдруг» в статус понятия, полагает, что оно параллельно понятию „теперь“, хотя, очевидно, что «теперь» внешне не таит в себе взрывной характеристики. Лосев основывает тождество этих слов на том, что «„вдруг“ есть точка, из которой происходит изменение в одну и в другую сторону, это граница между покоем и движением, так же как „теперь“ — граница между бытием и становлением» [Платон 1970: 601]. Именно о такой границе в статье «Духовная жизнь» говорит Победоносцев: «Деятельность духа оживилась в мере превышающей всякое описание; мысли стали возникать за мыслями с такой быстротой, которую не только описать, но и постигнуть не может никто, если сам не испытал подобного состояния» [Победоносцев 1993: 333].

Однако термин «вдруг» у Победоносцева в отличие от Платона не просто предполагает открытие простора для вещей или вещи, которая всегда *сама и одна, целое*. Это целое растёт из прошлого. Прошлое — почка целого. «Мы со всей полнотой этой силы проснемся в ином мире, *принуждены* будем созерцать нашу прошедшую жизнь во всей полноте ее... ни единая мысль о будущем не заглянула в мою душу, я был погружен весь в прошедшее» [Там же: 334–335]. Конечно, читая это у Победоносцева, мы видим трансдуктивную возможность переиначивания бытия: если единое есть, оно уже предполагает *другое, в другом* обнаруживая себя и выстраивая с ним отношение как возможную противоположность себе же, противоположность как возможное неединство. Но Победоносцев как настоящий архаист видит в истории линию производства того же самого, не другого, что, на его взгляд, свидетельствует не столько о существовании общего, сколько о существовании одного и того же. Это позволяет ему, архаисту, обнаружить себя в постмодерном виде: в повторе, в симулякре, выраженном в копировании и компиляции произведений, обнаружить социализм в самодержавии.

Копирование и компилирование, странные связи и переклички с Гегелем ли, с Герцеком, с другими показывают возможности коллажа — соединения в одном произведении разнородных по происхождению элементов, что вообще-то говоря, свидетельствует о неоспоримых бюрократических способностях чиновника высшего ряда, задача которого в том, чтобы обеспечить правильность управления. История именно таким образом «с опорой на факты», как говорил «доктор» В.Р. Мединский на открытой лекции в МГИМО, приспосабливается к тому, чтобы осуществить «учёт наших государственных интересов».

<sup>5</sup> См. также: Победоносцев 1996.

Но я бы ради такого вывода не стала писать о Победоносцеве. Я в начале сказала, что мы много теряем, не зная и не интересуясь мыслями своих оппонентов, не вступая с ними в диалог, а просто «закрыв» их для себя, и — оказываемся бессильными, маргиналами, удовлетворёнными собственной правотой и слабо рассчитывающими на то, наш голос кто-то услышит. Случай с Победоносцевым показывает и *ту* методологическую особенность, о которой сказано чуть выше, и возможность использовать — без ссылок, только намёками — любую (в том числе либеральную) мысль для прямо противоположных — державных — целей, но и силу умного, опытного оппонента, с которым надо держать ухо востро. Тем более что это человек чрезвычайно живой, и если клал живые души под сукно, то продуманно и намеренно. Ибо едва ли не основным понятием для Победоносцева было понятие жизни, определяемой им как движение. Но это движение и не просто беспорядочное прирождённое побуждение, и не состояние, тождественное мышлению. Жизнь, тождественная мышлению, означает умаление и ее понятия, и статуса. В «Болезнях нашего времени» он писал: «Жизнь — это свободное движение всех сил и стремлений, вложенных в природу человеческую; — цель ее — в ней самой, в этом *движении* заключается, и потому ставить целью жизни — движение одного ума, — одного сердца, — одного страстного влечения — значит суживать жизнь и уродовать ее. Она изуродована ... мыслью о жизни» [Там же: 116–117]. Разлад между жизнью и мыслью возник, как он отмечает в XVIII в., в эпоху Просвещения. Умная жизнь — это «мёртвая схема правды, взятая из книг, мёртвый образ природы в виде химической формулы — и дряблая воля, склонная к отрицанию материально не удавшейся жизни...» [Там же: 118] Но именно так (см. выше) не читавший и пользовавшийся сложившимися химическими формулами Блок охарактеризовал Победоносцева, в то время как тот понимал именно ее как свободу, заключенную в человеческой сущности и способную хитроумно, а, возможно, и искренне (см. его письма Александру III и Николаю II [Там же: 339–632], в которых он предъявляет себя умным и опытным министром-царедворцем, обладателем больших познаний в разного рода областях — экономике, военном деле, образовании и пр., сторонником жёстких мер в борьбе с террористами, нескрываемым националистом) сладить все. Но именно потому и необходимо расширить исследование спектра теоретических позиций при желании понять, прежде всего, революционные процессы в России, чтобы исключить односторонность в их трактовке.

---

Блок А.А. *Возмездие*. — Доступно: [http://az.lib.ru/b/blok\\_a\\_a/text\\_0040.shtml](http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0040.shtml). — Проверено: 06.11.2017.

Гегель Г.В.Ф. 1935. *Философия истории* / Пер. А.М. Водена под ред. и с предисл. Ф.А. Горохова — Гегель. *Сочинения*. Т. VIII. — М.; Л.: Госуд. соц.-эконом. изд-во.

Герцен А.И. 1956. *Русский народ и социализм*. — Герцен А.И. *Собрание сочинений: в 30-ти т.* Т. 7. — М.: Изд-во АН СССР. — Доступно: [http://az.lib.ru/g/gercen\\_a\\_i/text\\_0370.shtml](http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0370.shtml). — Проверено: 4.01.2018.

Жировов В.И. 1995. «Светский клерикал» или «просвещенный» консерватор. — *Актуальные проблемы отечественной истории*. — № 1.

Ланщиков А. 1993. Предотвратить ли думою грядущее? — Победоносцев К.П. *Великая ложь нашего времени*. — М.: Русская книга.

МакТаггарт Дж.Э. 2017. *Нереальность времени* / Пер. и вступ. ст. Ю. Олейника. — Доступно: <https://www.academia.edu/>. — Проверено: 01.11.2017.

Неретина С.С. 2008. *Философские одиночества*. — М.: ИФ РАН. — 269 с.

Отливанчик А.В. 2009. Формирование идейного направления журнала «Гражданин» (период редакторства Г.К. Градовского и Ф.М. Достоевского). — *Вестник БДУ. Сер. 4*. — № 3.

- Пантин И.К. 1994. Драма противостояния демократия/либерализм в старой и новой России. — *Полис. Политические исследования*. — № 3.
- Платон 1970. *Сочинения*: В 3-х т. Т. 2. — М.: Мысль.
- Победоносцев К.П. 1993. *Великая ложь нашего времени*. — М.: Русская книга. — 638 с.
- Победоносцев К.П. 1996. *Победоносцев: pro et contra*. / Вступ. ст., сост. и примеч. С.Л. Фирсова. — СПб.: РХГИ. — 576 с.
- Степанов Ю.С. *О Победоносцеве. Некоторые историографические суждения о К.П. Победоносцеве*. — Доступно: [http://krotov.info/library/18\\_s/te/panov\\_01.htm](http://krotov.info/library/18_s/te/panov_01.htm). — Проверено: 06.11.2017.
- Черниговская Т.В. 2013. *Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание*. — М.: Языки славянской культуры. — 447 с.